

*Светлой памяти моих любимых  
кашмирских родственников –  
деда д-ра Атауллы  
и бабушки Амир-ун-Ниссы Батт  
(Бабаджана и Аммаджи) –  
посвящается*



*Минуя рай, меня несет по адовой реке  
В глухую ночь, о мой изящный призрак.  
Удар сердечного весла дробит фарфор волны.*



*Я все, что было у тебя. Меня не стало.  
За это ты простить меня не пожелала,  
Но память обо мне тебя не оставляла.  
Прощать меня? За что? И ты простить не хочешь.  
Я боль таю от самого себя, но ею  
С собой одним я поделиться смею.  
Простить меня? О, есть за что, но ты не можешь.  
Ах, если б волею судеб моей ты стала,  
То мир преобразить моих бы сил достало.*

Ага Шахид Али. "Край, откуда не приходят письма"



*Чума на оба ваши дома!*

У. Шекспир. "Ромео и Джульетта"

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Индия*





чей дочь посла, движимая страстью к научному эксперименту, оставила возле постели включенный магнитофон, однако когда собственными ушами услышала омерзительный, будто с того света, голос — такой знакомый и одновременно абсолютно чужой, — настолько перепугалась, что тут же стерла запись. Но стереть не значит забыть. Что есть, то есть, от этого никуда не денешься.

К счастью, горячечные периоды сомнамбулической речи бывали краткими, но, когда заканчивались, некоторое время она лежала пластом, вся в поту, часто и трудно дыша, словно после быстрого бега, а затем проваливалась в тяжелый сон без сновидений. Вдруг просыпалась и долго не могла понять, где она и что с ней. Знала одно: в ее спальне кто-то есть. На самом деле никто к ней не входил. Являлось ей некое осязаемое во мраке присутствие отсутствия. У нее не было матери. Мать родила ее и умерла. Об этом ей сообщила жена посла, и посол, ее отец, это подтвердил. Мать была кашмиркой и утрачена была навсегда, как рай, как сам Кашмир. (Ей Кашмир и представлялся раем, и все, кто знал ее, вынуждены были принять это как аксиому.) Она вглядывалась во мрак, трепеща перед этим осязаемым отсутствием, этим бессловесным стражем — провалом в темноте, и с замиранием сердца ждала следующей, еще одной беды, — ждала, сама не зная, что ждет.

После смерти отца — ее великолепного отца, гражданина мира, наполовину француза, наполовину американца (“Как Статуя Свободы”, — сказал однажды он — ее обожаемый и осуждаемый, ее постоянно отсутствовавший, циничный отец, непоседа и соблазнитель) — к ней вернулся спокойный сон, будто от нее отвели проклятие. Словно она была прощена. Или он. Бремя греха было снято. Хотя она и не верила, что грех как таковой вообще существует.

Вплоть до смерти отца мужчинам было нелегко ладить с ней в постели, хотя в желающих недостатка не ощущалось. Сексуальные домогательства мужчин тяготили ее. Собствен-

ные ее желания оставались большей частью нереализованными. Из тех, с кем она переспала — а таких было немного, — ни один по той или иной причине ее не устроил. И поэтому (как бы для того, чтобы закрыть тему) она остановилась на заурядном субъекте и даже серьезно подумывала, не принять ли его предложение. Ну а потом... потом посла зарезали на пороге ее дома — зарезали, как цыпленка для халяльного стола, и он истек кровью от глубокой раны, нанесенной острым ножом. И это средь бела дня! Как, должно быть, блестяло лезвие в золотистых лучах утреннего солнца. Независимо от того, считать ли этот вечно ясный лик благословением для города или его проклятием. Дочь убитого принадлежала к той категории женщин, которые ненавидели безоблачное небо, однако ничего другого большую часть года этот город ей предложить не мог. Соответственно, ей оставалось только смириться с унылой чередой безоблачных месяцев, с иссушающим зноем, от которого трескалась кожа. В те редкие дни, когда, проснувшись, она ощущала в воздухе подобие свежести и видела, что небо затянуто тучами, она сладко потягивалась, выгибая спину, и на краткий миг чувствовала себя почти счастливой. Однако к полудню солнце неизменно сжигало облака без остатка, и с неба, обманчиво голубого, как делавшие мир чистым и светлым стены детской, снова нагло скалилось светило — будто человек, позволивший себе слишком громко расхохотаться в ресторане.

В таком городе не было места полутонам, во всяком случае так казалось на первый взгляд. Все здесь выглядело всегда до примитивности однообразно, без полутонов — ни тебе морозящего дождика, ни тени, ни пронизывающего холодного ветра. От пристального ока такого солнца нигде было спрятаться. Всюду и везде люди были на виду, словно манекены в витрине. Их тела, едва прикрытые одеждой, блестяли на солнце, и больше всего они напоминали ей персонажей с рекламных плакатов. Казалось, здесь не может быть места

ни для тайн, ни для глубоких чувств — всё на поверхности. Однако, чем больше ты узнавал этот город, тем отчетливее понимал, что эта банальная прозрачность не что иное, как великая иллюзия. На самом деле это был город-обманщик, город-лжец, предатель и перевертыш, город — зыбучий песок. Он умело скрывал свою истинную природу и надежно прятал свои тайны. В подобном месте силы зла и разрушения не нуждались в покрове темноты. Они слепили глаза даже при свете дня, испепеляя все своим смертоносным пламенем.

Ее назвали Индия. Свое имя она не любила. Где это слышно, чтобы людям давали такие имена, как Австралия, или Перу, или, скажем, Ингушетия?! В середине шестидесятых ее отец Макс Офалс, родившийся в Страсбурге (то есть во Франции, поскольку это было еще в другую эпоху), был самым популярным и, пожалуй, самым скандально известным послом Америки в Индии. Пусть так. Но детям не портят жизнь такими именами, как Герцеговина, Турция или Бурунди, лишь потому, что их родителям случилось посетить эти страны (и, возможно, быть оттуда выдворенными с позором). Ладно: ее зачали на Востоке вне брака, и родилась она в самый разгар скандала, который внес разлад в семейную жизнь отца и разрушил его брак, а также положил конец его дипломатической карьере. Все так. Но если считать это достаточным основанием для того, чтобы навешивать на детей подобные имена, словно бирки на лапы альбатросов для определения мест их гнездовий, то в мире было бы полно людей с такими, скажем, именами, как Евфрат, Пиза, какой-нибудь там Истаксиуатль или Вуллуму, хотя в Америке, черт ее побери, подобные наречения не редкость, что несколько ослабляло логику ее рассуждений и, честно говоря, немало ее злило. Таким как Невада Смит, Индиана Джонс и Теннесси Уильямс она мысленно слала свои проклятия и осуждающе тыкала в них пальцем.

Так или иначе, имя Индия не подходило ей никоим образом. Оно было экзотично, колониально и с претензией

на принадлежность к чуждой ей реальности, и она внушала себе постоянно, что для нее оно совсем не годится. Она не ощущала себя Индией, несмотря на смуглое, с ярким румянцем лицо и длинные черные волосы. Она не желала ассоциаций ни с простором, ни с необычностью поведения и темпераментностью, ни с перенаселенностью; не хотела быть ни древней, ни шумной, ни таинственной, избави боже! Ни за что не желала иметь отношение к стране третьего мира. Совсем наоборот: она позиционировала себя как женщину, умеющую владеть собой, особу ухоженную, чуткую, созерцательную, спокойную. Говорила с английским акцентом, никогда не горячилась, напротив — всегда держала себя холодно-отстраненно. Такой она хотела быть и такой она себя усердно, целенаправленно культивировала. Такой она представлялась всем, кто ее когда-либо встречал, за исключением отца да любовников, напуганных до смерти ее ночными эскападами. Что касается ее внутреннего мира, скандального периода ее пребывания в Англии и разного рода правонарушений с вмешательством полиции, а также других не получивших огласки эпизодов ее коротенького, но богатого событиями прошлого, то это все обсуждению не подлежало и не представляло интереса для широкой публики. Трудный подросток продолжал в ней жить — но уже в некоем сублимированном виде: он выражал себя через опасные развлечения, через еженедельные занятия боксом в клубе на углу бульвара Санта-Моника и Вайн-стрит (где, как известно, тренировались Тайсон и Кристи Мартин и где холодная ярость ее ударов по груше заставляла профессиональных боксеров-мужчин застывать на месте), а еще через тренировки с точь-в-точь похожим на Берта Квука мастером восточных единоборств Вин Чунем. Испорченный ребенок давал о себе знать и в раскаленном безлюдье выжженного солнцем куска пустыни за черными стенами стадиона в стрелковом клубе Зальцмана, где каждые две недели она упражнялась в стрель-

бе по движущимся мишеням. Однако наиболее сильные ощущения ей удавалось испытать во время тренировок в стрельбе из лука в самом сердце Лос-Анджелеса, в Элизиан-парке, где, собственно, и зародился этот город и где обретенную ею способность к самоконтролю в целях обороны можно было использовать для нападения. Когда она натягивала свой золотистый, олимпийского стандарта лук, когда чувствовала на губах прикосновение тетивы и время от времени дотрагивалась кончиком языка до древка, то испытывала пьянящее возбуждение; с наслаждением ощущала она биение крови в висках в последние секунды перед выстрелом, и наконец — о сладкий миг! — пущенная стрела летела, давая выход затаенной, душившей ее ярости, и у нее восторженно замирало сердце от далекого, еле слышного звука, означавшего, что стрела попала в цель. Лук как оружие был ей милее всего.

Странные зрительные галлюцинации, когда внезапно перед ее глазами появлялись и тут же исчезали некие картины, она умела отличать от реальности и научилась держать под контролем. В моменты, когда ее прозрачные, светлые глаза видели не то, что перед нею находилось, ее четко работающий мозг тут же ставил все на свои места. Она не желала раздумывать по поводу этих превращений, никогда не рассказывала о своем детстве и утверждала, что не помнит снов.

В день, когда ей исполнилось двадцать четыре, ее навестил отец-посол. Он позвонил в дверь, и с балкона четвертого этажа она увидела, как он стоит под палящими лучами полуденного солнца в идиотском шелковом костюме, словно старый ловелас. Еще и с букетом.

— Люди могут подумать, что ты мой любовник! — крикнула она сверху. — Что ты мой Валентин, который жаждет утащить крошку из колыбели прямо под венец.

Она обожала его таким — смущенным и растерянным, любила его, когда он стоял, болезненно морща лоб, чуть вздернув плечо к правому уху, и приподнимал руку, словно засло-

няясь от удара. Она смотрела на него сквозь призму своей любви, и его облик стал вдруг дробиться и радужно расплываться. Она наблюдала за стоявшим внизу, и неожиданно он начал уходить в прошлое, медленно-медленно удаляться, пока не исчез в необозримом космосе, подобно световому лучу. Так вот что такое утрата, вот что такое смерть! Это уход, бегство, растворение в невообразимых скоростях и бесконечных далях космоса. На самом краешке нашей галактики некое существо, представить которое невозможно, однажды приникнет к телескопу и узрит приближающегося Макса Офалса: в шелковом костюме и с букетом роз он будет подплывать все ближе и ближе, покачиваясь, несомый приливными световыми волнами. А сейчас с каждым мгновением он удалялся от нее все больше. Она зажмурилась, затем снова открыла глаза: да вот он — не улетел за миллиарды миль, не затерялся среди крутящихся колесом галактик. Подтянутый, учтивый, он пребывал здесь, на улице, где она жила. Он уже справился со своим смущением.

Из-за угла, со стороны парка, появилась девушка в спортивном костюме. Она направлялась прямо к нему, и было ясно, что на бегу она в обычных для современного общества терминах прикидывает, чего он стоит в смысле секса и денег.

Отец был одним из архитекторов послевоенного мира, его международных институтов, его экономических и дипломатических конвенций. В своем преклонном возрасте он все еще был сильным игроком в теннис — подача навывлет сильно закрученным мячом до сих пор приносила ему победу. Жилостное тело (жира — не более пяти процентов) в белоснежных брюках до сих пор легко перемещалось по корту. Зрителям он напоминал старого чемпиона Жана Боротра (не всем, разумеется, а тем немногим, которым доводилось Боротра видеть). Сейчас он с нескрываемым удовольствием истинного европейца разглядывал специфически американские груди бегуны под спортивным бюстгальтером. Когда она порав-